

Адамович Г. Чехов // Новое русское слово.
Нью-Йорк, 1954. 11 июля № 15415. С. 8.

ЧЕХОВ

Есть что-то явно нелепое в установлении иерархии писателей по степени гениальности или талантливости. Такой то первый, такой то второй, такой то третий, этот «выше», тот чуть-чуть «ниже». Будто солдаты в строю. Однако человеку настолько свойственна склонность к измерениям и сравнениям, что и создавая порой бессмысленность их, он не может от привычки своей отделиться.

Где в каком ряду русских писателей место Чехова? Иностранцы ответили бы вероятно: в первом, — однако едва ли в согласии с нами, русскими. Ки. Святополк-Мирский остроумно и верно заметил в одной из своих английских книг, что утверждение, будто Чехов такой же великий писатель, как Толстой, звучит на русский слух так же парадоксально, как сравнение Брюсселя с Лондоном. Русские насчет Чехова до сих пор еще колеблются: он для них — почти в первом ряду, однако только «почти». Три почетнейших кресла бесспорно заняты Толстым, Гоголем и Достоевским, а Чехову отводится место несколько позади, в соседстве с Тургеневым, Гончаровым, Писемским и другими.

Однако любили и любят Чехова не меньше, чем когда либо другого, не меньше чем даже Толстого. Да, не такой великий художник, не такой огромный, исключительный человек, это признают все. Но Толстой смущает и подавляет. Толстой слишком явственно дает читателю почувствовать его ничтожество а с Чеховым дышится свободнее и легче. «Мы отдохнем» обещает он, и обещание свое сдерживает в каждой своей повести, в каждом рассказе.

Чехов — самый снисходительный, самый милосердный из русских писателей: вот в чем вероятно, секрет его обаяния! Как это на первый взгляд ни странно, наша литература при всей своей прославленной духовности никогда не была литературой доброй, в смысле подлинного проникновения человеколюбием, а не только витания и кружения вокруг этого чувства. Правда, Гоголь написал «Шинель». Но только при знакомстве с Гоголем по гимназическим учебникам можно было бы поверить, что он действительно кого то любил, о ком то болел, кого то жалел. Гоголь — фантастически сложное явление, писатель, который по самой своей психической необычности не способен полностью разделить простые человеческие эмоции. Человеку с Гоголем жутко и холодно, с Гоголем ему не по себе. Гоголь меньше всего «друг» в литературе: ему трудно верить, на него нельзя рассчитывать. Да он и сам это сознавал, и был этим измучен. Достоевский создал Сонечку Мармеладову, князя Мышкикина, Алешу, униженных, оскорбленных, бесконечную галерею «бедных людей»: что говорить, тут много любви! Но любовь эта какая то припадочная, спазматическая, тревожная, подчеркнута — жертвенная, отчасти как будто вознижающая в борьбе со свирепой жестокостью. Любовь мутная и не прочная, любовь раздражающаяся рыданиями, от силы которых содрогнулся весь мир, но упоенная сама собой, высокомерная, невнимательная и способная внезапно обернуться гневом и презрением: нельзя все таки забыть, что одновременно с «Идиотом» и «Карамазовыми» Достоевский выпускал еще и «Дневник писателя», с некоторыми его печальными и даже ужасными страницами. «Наш маркиз де Сад», не без основания сказал о нем Тургенев. Остается Толстой. Конечно Толстой ровнее, самому себе и духу своему вернее. Подписи Толстого под такими восклицаниями, как «главное — ружей бы нам побольше» (во время русско-турецкой войны) или под попытками отвести упреки в антисе-

митизме представить себе не возможно. Но если никогда за всю свою жизнь Толстой не бывал мелочен, то в расцвете сил он был нетерпим, суров, беспощаде. Что расправился он с Наполеоном, не беда, тот сам за себя постоит, но Анна, самый живой женский образ всей русской литературы — да и только ли русской? — какой грозный он поставил к роману о ней эпиграф, с какой уверенностью, что наказание заслужено, толкнул он ее под колеса поезда! «И свеча, при которой она читала исполненную тревог, обмана, горя и зла книгу...» За этой забываемой свечей скрыто чувство: правильно, справедливо, так и должно было случиться, свеча должна была потухнуть!

И вот пришел Чехов. Как сказано в псалмах, у царя Давида? «Трости надломленной не переломит, льна горящего не угазит...» Чехов именно в этой линии, он весь в линии сочувствия, понимания, снисхождения, помощи. Литература наша только намеревалась до Чехова так подойти к человеку, и все ей мешали какие то высокие споры с судьбой и Богом, какие то далекие замыслы и надежды. Чехов — самый скромный, наименее заносчивый и высокомерный из больших русских писателей, и не случайно о Достоевском, о котором отзываться он вообще не любил, — сказал он — лишь то, что Достоевскому «не достает скромности».

Русская литература как будто надорвалась на Толстом и Достоевском, а в Чехове отразила свою усталость. Оставьте человека в покое, — говорит он всем своим творчеством. Чего вы от человека хотите? Зачем требуете от него героизма или мученичества? Почему считаете себя в праве предъявлять ему какие либо требования? Взгляните вокруг себя. Жизнь бедна, темна, не говоря уж о том, что она скучна, и следует ли считать каждого Ивана Ивановича ставкой в какой то предвечной божески-дьявольской игре — еще вопрос. А вот что этому Ивану Ивановичу трудно жить, что его ежесекундно подстерегают невзгоды и несчастья, что беззащитность его обнаруживается повсюду, по любым пустякам — это несомненно «Мир гибнет не от войн, революций и землетрясений, а от мелких домашних неприятностей», заметил где то Чехов (цитирую по памяти). Скромность подсказала ему нарочито бесцветное слово «неприятности», но мысль тут выражена глубокая и верная. Как никто другой Чехов оказался зорек к мелочам жизни, обманчиво — незначительным, и как никто другой сумел показать все, что за ними скрывается.

И читатели не ошиблись: сразу они почувствовали, что такого писателя в России еще не было, и попытались ответить ему исключительной привязанностью и преданностью. Чехов как будто оградил, защитил их от Толстого, а что касается Достоевского... о, насколько же сердечнее и правдивее рассказал он о своих «хмурых людях», чем тот о Сонечке, с ее дергающимися плечиками в драдемовой платке. Да, тише, глуше, серее, бледнее, тусклее, но именно сердечнее и правдивее! Сонечку Достоевский выдумал, и реальная какая нибудь Сонечка только наполовину верит ему, читая его рассказ, потому что не знает, как бы отнесся он к ней, настоящей, не столь ангелоподобной, безгрешной и обаятельной. Чехов же изл верную ноту, хотя и должен был при этом отказаться от былых беспредельных надежд. Мир для него как будто обанкротился. Открыто сказать это он не решился, было бы это «не скромно», но намекнуть, что смысла в жизни и в мире ищут только неисправимые упрямцы или сумасшедшие, это он считал возможным. Однако ему было жалко человека. Он утешал его:

«мы отдохнем». Полковник Вершинин утверждает, что через триста лет на земле будет рай. Едва ли кто нибудь поверил полковнику, главное едва ли кого нибудь обещание это успокоило и обрадовало. Не все ли равно, что будет через триста лет? Нас волнует судьба наших детей или внуков: какое нам дело до каких нибудь наших пра-пра-потомков? Чехов был слишком трезвый человек, чтобы на этот счет обольщаться. Но его полюбили за стрем-

ление утешить, пусть и не совсем удачное, за понимание, что надо было что то сказать, и за жизненные или житейские картины, объясняющие почему надо было это сказать, несравненно — верные и чистые, без единого громкого слова, без всяких декораций. Не было до него в России такого писателя. А русская литература такого писателя давно ждала, и для него отведено было в ней особое место.

Георгий Адамович.